

Последний ответ Вл.С. Соловьёву

В «Вестнике Европы» за январь Вл. С. Соловьёв отвечает мне на мою статью «Наша культура» и пр. (Русский вестн. 1888, июнь).

Мне очень хотелось бы, чтобы этот спор был понятим читателями в его настоящем смысле, и потому решаюсь прибавить здесь несколько замечаний. Не следует упускать из вида главного предмета спора. Дело идёт вовсе не об успехах России в науках и философии, не об любви к отечеству, не об моем гнусном «равнодушии к истине», не об желании Вл. С. Соловьёва «протестовать против повального национализма, обуявшего в последнее время наше общество и литературу» (*Вестн. Евр.*, янв., стр. 374), не об значении моих «трёх книг», не о достоинстве «философских трудов» моего противника, и т.д. Действительный предмет спора другой; он имеет совершенную определённую и очень далёк от личных препирательств и от общих толкований о *грехах и болезнях* (заглавие ответа Вл. С. Соловьёва). Дело идёт о *теории культурно-исторических типов*, изложенной в книге Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». За эту теорию я вступился против неожиданного и резкого нападения и очень желал бы, чтобы и теперь читатели главное своё внимание обратили на то, что касается этой теории.

Прочитав ответ Вл. С. Соловьёва, я с удовольствием увидел, что спор наш кончен в этом отношении, т.е., что мне вовсе нет надобности вновь защищать теорию Данилевского. Если читатели вспомнят мою прежнюю статью и внимательно сравнят с нею то, что теперь написал против неё Вл. С. Соловьёв, то, надеюсь, им будет вполне ясно, что все мои прежние доказательства остаются в полной силе. В первой своей статье, противник теории культурно-исторических типов напал на неё: 1) с точки зрения христианских начал, 2) на основании учения о человечестве, как об едином организме, 3) со стороны общих научных требований, именно приёмов естественной системы, 4) на основании хода всемирной истории, 5) на основании истории наук и религий. Эти исходные точки нападения я счёл настолько важными, а самого нападателя – имеющим настолько веса в нашей литературе, что мне казалось нужным старательно отразить нападение. Все указанные возражения были мною выставлены, рассмотрены и опровергнуты. В новой своей статье мой противник не сказал ничего ослабляющего мои доводы, так что мне нет надобности дополнять свою прежнюю аргументацию. Маленького добавления требует разве только новая ссылка г. Соловьёва на ап. Павла, сделанная в защиту мысли о человечестве,

как едином организме, именно прямая ссылка на две главы посланий апостола, 1 Кор. XII и Ефес. IV. Если непредубеждённый читатель сам прочитает эти две главы, то он тотчас же увидит, что они наполнены увещаниями к единению и любви, обращёнными к обществу верующих, к христианской церкви, а вовсе не содержат учения о едином организме человечества. Во второй из указанных глав, в стихах 17 и 18, прямо говорится: «заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Следовательно, здесь полагается существенное разграничение, и только верующие, если будут вести себя по вере своей, могут быть названы единым организмом.

Итак, я решаюсь в настоящем случае положиться на читателей, то есть надеяться, что они вспомнят мою прежнюю статью и увидят, что нынешние чрезвычайно горячие выходки Вл. С. Соловьёва совершенно слабы и бессодержательны в отношении главного вопроса – теории культурно-исторических типов. Для читателей забывчивых и предубеждённых, конечно, можно бы пуститься в повторения и истолкования, в шуточки и разглагольствия; но, как ни полезно бороться против забывчивости и предубеждённости, я не чувствую теперь к тому охоты, а без охоты, как известно, хорошего писания не бывает.

В одном только пункте мне хотелось бы прибавить новые пояснения, хотя и прежних достаточно для внимательных читателей. Г. Соловьёв не верит моему изложению, по которому теория культурно-исторических типов имеет мирный характер, отличается духом славянской терпимости, ибо, по этой теории, могут одновременно существовать и развиваться несколько таких типов; так было прежде, так есть теперь, и в будущем нет для этого никакой невозможности. По уверению г. Соловьёва, я в этом случае «бесцеремонно подставил вместо основной мысли Данилевского какую-то совсем иную», и вот как г. Соловьёв излагает подлинное мнение Данилевского:

«По теории Данилевского, славянство, будучи *последним* в ряду преемственных культурно-исторических типов и притом самым *полным* (четырёхосновным), должно прийти на смену (?) прочих, частью отживших, частью отживающих типов (Европа); славянский мир есть море, в котором должны слиться все потоки истории (?) – этою мыслью Данилевский заканчивает свою книгу, это есть последнее слово всех его рассуждений. Слияние же исторических потоков в славянском море должно произойти не иначе, как посредством великой войны между Россией и Европой» (*Вестн. Евр.*, янв., стр. 358).

В подобном же духе истолковывал недавно мнения Данилевского и В.П. Безобразов, стараясь придать этим мнениям самый фантастический и пугающий вид.

«С чрезвычайной восторженностью возвещает он (Данилевский) грядущий близкий период торжества (?) славянского культурно-исторического типа, под духовною и политическою гегемониею России, видя в этом торжестве (?) тот высший *синтезис* всех доселе существовавших во всемирной истории культурных начал, который должен воссоздать просвещение и государственно-общественный строй на развалинах доживающей свой век европейской культуры» (Наблюдатель, 1888, ноябрь, стр. 325, 326).

Несколько далее – к этому прибавлено:

«Заключительным словом книги Данилевского, – как иначе и быть не могло, вследствие всех его теоретических соображений, – является необходимость роковой смертельной (?) борьбы России со всем Западом, т.е. со всем образованным миром, борьбы не только нравственной, но и материальной» (стр. 329).

Тут я вижу глубокое недоразумение, глубокое извращение дела, хотя извращение неумышленное, происшедшее только от того, что противники Н.Я. Данилевского не удостоивают его книгу старательного чтения и вникания. О какой *смене прочих типов* они говорят? О каком *близком торжестве*? Что это за *потoki, сливающиеся в славянском море*? Откуда явилась *смертельная борьба*? Откуда *воссоздание просвещения на развалинах европейской культуры*?

Эти речи умышленно напыщенны и всё-таки неопределённые; обидно их читать, когда вспомнишь точность мысли и выражения, свойственную Н.Я. Данилевскому.

Во-первых, он никогда не говорил, что Европа *отживает* свой век; напротив, он утверждал и подробно пояснял, что теперь Европа находится в полном расцвете, в апогее своих сил. Нигде он и не думает говорить о «развалинах европейской культуры» и о том, что нам предстоит будто бы делать на этих развалинах.

Во-вторых, он предсказывал борьбу славянского мира с Европою, но предсказывал потому, что видел в этой борьбе единственный возможный выход для разрешения *Восточного вопроса*, выход из давнишней существующей распри, разрешение тех горячих стремлений, надежд и

притязаний, сила которых не ослабевает, а растёт с каждым днём. Вы не хотите признать правильности предсказаний Н.Я. Данилевского; но чтобы их опровергнуть, мало сказать, что вы, по человеколюбию, или по экономическим соображениям, ужасаетесь войны, – нужно ещё показать, как же, по вашему мнению, может совершиться разрешение Восточного вопроса.

В-третьих, наконец, великие надежды, которые автор *«России и Европы»* возлагал на славянский мир, вы готовы принять за какое-то поползновение к единому и нераздельному владычеству над всем миром; вы говорите о смене всех типов одним, о слиянии всех потоков в одном море, и т.п. Но подобные предположения невозможны по самой сущности теории культурно-исторических типов, утверждающей, что развитие этих типов совершается и разновременно, и разномастно. Н.Я. Данилевский даже прямо, как на одно из сильных и ясных доказательств своей теории, указывает на то, что в силу её невозможна какая-нибудь единая всесовершенная цивилизация для всей земли (*Россия и Европа*, стр. 123) и устраняется всякая мысль о мировладычестве (стр. 463-465). У него нельзя найти даже таких предположений, как, например, у Ренана, который считал очень вероятным, что славяне завоюют Европу (см. *Борьба с Западом*, кн. I, стр. 387).

Да разве для развития, для создания своей культуры, нам нужна власть над Европой, или Африкой, или Индией и т.п.? Н.Я. Данилевский был слишком разумен, чтобы тешиться подобными мыслями, а главное – другого он желал своей родине, не внешнего блеска и торжества. В конце своей книги он действительно говорит о потоках, которые когда-то сольются в славянском водоёме (не в море); но он говорит весьма определённо о *четырёх* потоках, и понимает здесь четыре главных направления культурной деятельности, т.е. он только выражает в подобии или метафоре ту свою надежду, что славянский тип будет *четырёхосновным*. Вот его слова:

«Главный поток всемирной истории начинается двумя источниками на берегах древнего Нила. *Один*, небесный, божественный, через Иерусалим, Царьград, достигает в невозмущённой чистоте до Киева и Москвы; *другой*, земной, человеческий, в свою очередь дробящийся *на два русла*: культуры и политики, течёт мимо Афин, Александрии, Рима – в страны Европы; – на русской земле пробивается *новый ключ*: справедливо обеспечивающего народные массы общественно-экономического устройства. *На обширных равнинах славянства* должны слиться все эти потоки».

Очевидно, это есть изображение той самой мысли о *четырёхосновности*, которая несколькими строками выше выражена в

отвлечённых терминах. Затем, последними строками в книге стоят стихи Хомякова:

Смотрите, как широко воды
Зелёным долом разлились,
Как к берегу чуждые народы
С духовной жаждой собрались!

Так глубоко верили в свою землю Хомяков и Данилевский, так далеко простирались их надежды!

«Но ведь это самохваление, самомнение! Ведь это горячие мечты народного самолюбия, которые ведут к гордости, к нелепому самодовольству, к презрению и непониманию цивилизации!» Вот что скажут на это наши скептики и недоброжелатели, да и множество наших интеллигентов, или, правильнее, тех, которые только пламенно желают считаться интеллигентами. Боже мой, бедная Россия! Незаглушимая болезненная нота всегда отзывается в твоей умственной жизни. Мы так измалодушничались, так привыкли падать духом, что чуть не оскорбляемся, если кто-нибудь выразит надежду на великое духовное будущее России. Да почему же нам не надеяться? Вера в свою землю, надежда на неё, – ведь это чувства, без которых жить нельзя; нельзя называть себя русским, нельзя сознавать свою особенность среди людей иного племени, и не верить, что эта особенность имеет своё высшее оправдание, что наша история («такая, какую нам Бог дал», по выражению Пушкина) ведёт нас к некоторой великой цели. Что дурного, что такого страшного и непростительного в той мысли, что *на равнинах славянства* дух человеческий принесёт некогда роскошные плоды, каких ещё не видала история? Подобные надежды так естественны для того, кто любит свой народ.

Но надежды, конечно, суть только надежды, только гадания о будущем, только желания, для исполнения которых от нас ещё требуется большой труд, тем больше усилий и доблестей, чем выше самые желания. Мы видели, что противники Н.Я. Данилевского выставляют его желания в каком-то страшном свете; но они делают ещё другую ошибку, всё потому, что стараются подорвать его теорию типов. Именно, и Вл. С. Соловьёв, и В.П. Безобразов причисляют эти надежды Данилевского к самой его теории, видят

в них прямой вывод из всех его соображений, последнее слово и завершение его системы. Понятно, что благожелания, в которых Данилевский дал полный простор своему горячему патриотизму, должны показаться совершенно мечтательными для людей с иным настроением, а следовательно тот же упрёк мечтательности должен упасть и на всю теорию, которая привела, будто бы, к таким фантастическим выводам.

Но так нельзя смотреть на дело, не так его поставил автор *«России и Европы»*. Это был не только пламенный патриот, но и необычайно светлый ум. Он отделил резкою чертою то, чего желал и на что надеялся, от того, что считал твёрдым фактом, строго обоснованною теориею. Предположения о будущем величии славянского культурно-исторического типа содержатся в XVII главе, последней главе книги. Эта глава начинается такими словами:

«*Предыдущею главою я, собственно говоря, кончил принятую на себя задачу*» (*Россия и Европа*, стр. 513).

«Я указал, – говорит на следующей странице Данилевский, – на *тот путь*, которым Россия и славянство ведутся и должны наконец привести к осуществлению *тех обещаний*, которые даны им *их этнографическою основою*, теми особенностями, которые отличают их в числе прочих семейств великого арийского племени. Этим могли бы мы, следовательно, заключить наши исследования» (стр. 514).

Итак, до сих пор происходило строгое исследование, и оно теперь вполне заключено. Теория культурно-исторических типов утверждена, и, в отношении к славянскому типу, дело шло не об гадательных надеждах, а об обещаниях, даваемых его этнографическою основою в её историческом развитии; не о будущих подвигах его культуры, а о том пути, по которому история привела этот тип к Восточному вопросу.

Итак, если бы мы вовсе откинули последнюю главу *«России и Европы»*, эта книга сохранила бы всю свою целость и весь свой вес. Но автор, к соблазну наших западников, решился заговорить о будущем, захотел вполне выразить свою любовь и веру. При этом он очень хорошо знал, что делает. Он называет это дело «гадательным» и «крайне трудным» (стр. 515), и даже вовсе отвергает возможность полной характеристики новой культуры.

«Неверующие в самобытность славянской культуры возражают против неё вопросом: «в чём же именно будет состоять эта новая цивилизация, каков будет характер её науки, её искусства, её гражданского и общественного строя?»» – «В такой форме, – замечает Н.Я. Данилевский, – требование это

нелепо, ибо удовлетворительный ответ на него сделал бы самое развитие этой цивилизации совершенно излишним» (стр. 514,515).

Он берётся, поэтому, отвечать лишь «в общих чертах», да и тут принимает меры, как бы «не впасть в совершенно бессодержательные мечтания» (515). И наконец, когда он, посредством остроумных соображений, дошёл до формулы, что славянский тип, может быть, будет четырёхосновным, он заключает свои рассуждения так:

«Осуществится ли эта надежда, – зависит вполне от воспитательного влияния готовящихся событий, разумеемых под общим именем Восточного вопроса, который составляет узел и жизненный центр будущих судеб славянства» (стр. 556).

Неужели это не точно и не ясно? Не так ли мы предвещаем молодому даровитому юноше великую будущность, *если* события, которые ему встретятся, не помешают ему, и если сам он встретит эти события, как следует, воспримет от них надлежащее *воспитательное влияние*?

По строгости мысли, по правильности в постановке вопросов, по точности, с которою выражено каждое положение и определён относительный вес каждого положения, – я нахожу Н.Я. Данилевского безупречным, удивительным, твёрдым и ясным, как кристалл, и не могу не жалеть, что этого не видят его учёные противники.

Они, очевидно, чем-то ослеплены. Слушая иного из наших западников, можно подумать, что говорит не наш соотечественник, а какой-нибудь немец в глубине Германии, которого с детства вместо буки пугали Донским казаком и которому Россия является в мифическом образе неодолимого могущества и, самого глухого варварства. Не следует ли нам стать на совершенно другую точку зрения? Почему это мы за Европу боимся, а за Россию у нас нет ни малейшего страха? Когда Данилевский говорил о грядущей борьбе между двумя типами, то он именно разумел, что Европа пойдёт на нас, как бывало и прежде, но пойдёт нашествием ещё более грозным и единодушным. Возьмите дело с этой стороны. Перед взорами Данилевского в будущем миллионы европейцев с их удивительными ружьями и пушками двигались *на равнины славянства*; давнишний Drang nach Osten действовал наконец с полною силою и заливал эти равнины огнём и кровью. Он видел в будущем, что его любезным славянам предстоят такие испытания, такие погромы, перед которыми ничто Бородинская битва и Севастопольский погром. И он взывал к мужеству, к единодушию, к твёрдой вере в себя, и он надеялся, что если мы будем так же уметь жертвовать собою, как жертвовали до сих пор, то мы

выдержим и отразим этот напор Европы, что мы *отстоим себя*, а если отстоим, то, значит, и зацветём новой жизнью.

Спрашивается, где же тут незаконная гордыня и несбыточные притязания? Противники Н.Я. Данилевского, очевидно, вовсе его не понимают, они никак не могут стать на его точку зрения, а все сбиваются на давнишние ходячие понятия об истории. Против таких недоразумений одно средство – нужно прилежнее читать *«Россию и Европу»*, нужно отказаться от пренебрежения к этой бесподобной книге.

Вл. С. Соловьёв в новой своей статье осыпает меня всяческими упрёками. Но легко убедиться, что вообще он или крайне всё преувеличивает, или просто шутит. Так, я считаю шуткою, когда он говорит, что я будто бы объявил его «врагом отечества», даже «повинным смерти», на основании ветхозаветного закона: «кто злословит отца своего, или мать, того должно предать смерти» (Исх. XXI, 17), что будто бы приписываю ему сочувствие «насилию», «испанской инквизиции» и т.д. Ничего подобного у меня нет, и всё это, конечно, такая же фантазия, как и то, что в настоящее время г. Соловьёв будто бы «сидит на реках Вавилонских», а я «пляшу перед золотым истуканом Навуходоносора» (*Вестн. Евр.* № 1, стр. 365).

Мой противник не заметил, что, вообще, я нигде не высказывал каких-нибудь общих суждений об нём и о его деятельности; я разбирал и осуждал только то, что стоит в его статье; об нём же самом, об его чувствах и свойствах и обо всей его другой публичной деятельности я ничего не говорил, да и теперь не хочу и не буду говорить. Нет ни нужды, ни пользы отступать от предмета. В одном только случае я не вполне соблюл это правило и попал в неточность, которую теперь постараюсь поправить. У меня было сказано: «Г. Соловьёв отвечал (Аксакову), что не раз заявлял о своей любви к России; да разве любовь доказывается заявлениями?» Конечно, я тут не довольно отчётливо выразился, но уверяю, что и в мысли не имел представить в смешном виде ответ г. Соловьёва. Конечно, он отвечал Аксакову, что заявлял не «о своей любви к России», а об общем долге любить Россию и о том, как он понимает этот долг; без сомнения тут есть разница. Но мне думалось, что одно непременно следует из другого, и вот почему я сделал ошибку в выражении. В самом деле, ведь каждый так и любит, как понимает любовь, а ещё вернее, что только такую любовь всякий понимает, какую сам испытал или испытывает. Итак, тут невозможно полагать решительный раздел между чувствами и понятиями, но в то же время тут всегда возможно и легко брать всё дело или со стороны чувств, или со стороны понятий.

Будем же иметь это в виду и будем таким образом учиться друг у друга патриотизму. Пусть не жалуется Вл. С. Соловьёв; никто его не считает «врагом отечества» и не отрицает у него всякого патриотизма. Но, если он, г. Соловьёв, с великим апломбом назвал патриотизм Н.Я. Данилевского «узким и неразумным», то почему нам запрещено указывать какие-нибудь черты «неразумия», если таковые окажутся в патриотизме г. Соловьёва? Меня, например, больше всего огорчило у него не то, что он говорит вообще о нашей культуре и о необходимости для России смирения и покаяния, и в умственном и в политическом отношении, а именно то, что он напал на две книги Н.Я. Данилевского, и как он на них напал. Без сомнения, он имел полное право опровергать эти книги, как скоро не сошёлся с ними в своих воззрениях; мало того, при моем неистовом «равнодушии к истине», я счёл бы большою радостью, если бы появился у нас строгий и основательный разбор этих книг, исходящий из начал, с ними не согласных. Но г. Соловьёв написал разбор, которого никак нельзя считать серьёзным. Если бы у него было немножко побольше любви и чуть-чуть поменьше высокомерия к русским книгам и русским людям, он не так бы говорил об книгах Данилевского, да и вовсе не выбрал бы их для себя мишенью. Любовь внушает уважение, внимание, осторожность, предохраняет нас от опрометчивости и фальшивых шагов, вредных для дела и для нас самих. Вычеркнуть из русской литературы несколькими почерками пера такие две книги, как «*Россия и Европа*» и «*Дарвинизм*», эти плоды многолетних трудов одного из умнейших людей, каких породила Россия – с этой затеею я никак не могу помириться.

Напрасно также мой противник с большим упорством ссылается на мои слова, на то, что и я то же говорил о *немощи русского просвещения*, что высказывал различные упрёки обществу и нашей литературе. Действительно, я решался иногда выражать подобные общие обличения; но, мне кажется, я при этом ясно указывал, во имя чего я их делаю, и таким образом, рядом с упрёком, у меня стояло выражение уважения. В статье об Аксакове я упрекал общество и литературу, но упрекал *во имя Аксакова*, следовательно, отдавая в то же время всякую честь одному из членов этого самого общества и этой литературы. Точно так, если я назвал статью г. Соловьёва *образчиком немощи нашего просвещения*, то это было сказано мною в полемике, в которой я стоял за великие достоинства «*России и Европы*», этого бесподобного образчика русского ума.

Вл. С. Соловьёв, желая утвердить свою основательность в порицании других, указывает между прочим на то, что он не пощадил и самого себя, что он, «говоря о грустном состоянии русской философии, не делал исключения в

пользу своих философских трудов» (стр. 357). Но, признаюсь, в таком голословном заявлении я не вижу ничего хорошего, и даже вижу мало понятного. Во имя чего г. Соловьёв отрекается от своих философских писаний? Очевидно, во имя своих богословских стремлений. Но, хотя в принципе это стремления добрые, хотя никто не откажет в своём уважении мысли о соединении церквей, если брать эту мысль в её общем смысле, спрашивается, неужели нужно приносить ей в жертву прежние философские опыты? Из того, что г. Соловьёв признает себя слабым в философских рассуждениях, ведь не будет следовать, что он очень силен в богословских. Что касается до его последних статей, то они, без сомнения, слабее всего им писанного; из прежних же его писаний я кое-чему хорошему научился и благодарен ему за это.

Скажу здесь, кстати, несколько слов и о моем «материализме». Вл. С. Соловьёв продолжает настаивать на том, что я в некоторых своих писаниях будто бы «защищаю механическое мировоззрение западных учёных» (374), т. е. попросту материализм, а потому он, естественно, находит тут противоречие с другими моими писаниями и видит у меня вообще «хаотическое смешение разнородных взглядов, взаимно себя уничтожающих» (373).

Мне предлагается, таким образом, запрос, недоумение, которое я обязан разъяснить, разрешить истолкованием своих мнений. Мой критик советует мне даже прибегнуть к радикальному средству. «Наверное, – говорит он, – множество недоумевающих читателей было бы в высшей степени довольно, если бы г. Страхов, не приписываясь ни к одному из существующих *измов*, мог бы указать им на своё собственное, хотя бы очень сложное, но определённое и положительное решение главных философских и социальных вопросов» (стр. 373).

Средство прекрасное и решительное, и я никак не стану отрицать, что при его помощи были бы устранены многие недоразумения. Но ведь это очень трудное средство; ведь, не говоря о побочных для дела обстоятельствах, оно требует, мне кажется, от всякого много времени и много усилий, *если* его указания должны быть точным и ясным изложением его собственной мысли, а не простым повторением и сочетанием каких-нибудь существующих *измов*. Не позволительно ли будет делать это дело по частям и начать с какого-нибудь частного вопроса? По-моему, даже частное исследование, сделанное совершенно основательно и отчётливо, гораздо полезнее, лучше знакомит нас с методою и общим духом философии, чем очерк целой системы, обыкновенно очень красивый на вид, но совершенно непрочный внутри и сбивающийся на десятки других таких же очерков.

Но, главное, какой бы путь мы ни выбрали, мы никогда не будем вполне безопасны от недоразумений. В настоящем случае, положение дела следующее. Представим, что я для начала взял один из философских вопросов, именно вопрос о *материи*, и что высказал о нём весьма решительное мнение, изложил его довольно подробно и отчётливо. Что же вышло? Г. Модестов говорит, что он не может решить, материалист ли я, или нет; г. Соловьёв сказал, что я прямо начал проповедовать материалистическое учение; сам же я от начала объявил и объявляю себя противником материализма. Отчего же происходит такое разногласие? Конечно, от того, что у нас троих, должно быть, у всех разные понятия о материализме. Но вместо того, чтобы рассматривать сделанные мною разъяснения вопроса, мои критики знать ничего не хотят, кроме своих собственных понятий¹, говорят, что, в силу этих понятий, они видят у меня противоречие, что я должен поскорее дать им всю систему, что у меня хаос, равнодушие к истине и т.д.

Между тем, я чрезвычайно дорожу тем взглядом на материю, который успел формулировать и высказать. От этого взгляда, как от твёрдой точки, можно простираť заключения на всю область знания. К существенным чертам этого взгляда принадлежит то, что материя есть понятие механическое, что законы механики непреложны, но что «механического мировоззрения», в сущности, вовсе быть не может, ибо эти законы как не могут мешать никакому пониманию, заслуживающему имени «мировоззрения», так и не могут способствовать нашему постижению сущности мира.

С величайшей благодарностью принял бы я всякое замечание, относящееся к действительно высказанным мною взглядам.

Спор наш кончен. Думаю, что нужно остановиться и не отвечать больше на возражения, так далеко отходящие от предмета, или вовсе его не касающиеся.

14 янв. 1889

Впервые опубликовано: Русский вестник. 1889. № 2.

¹ Шутя, я назвал это *клетками*, которые так часто каждый приготовляет про себя и в которые потом старается посадить всё на свете. Иной критик не читает вас и вовсе читать не хочет; он, по нескольким словам, схваченным на лету, уже посадил вас в готовую у него клетку.

Николай Николаевич Страхов (1828-1896). Российский философ, публицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской АН.